

СЕРГЕЙ КУНЯЕВ

ВАДИМ КОЖИНОВ

Глава 14

Русская Идея (продолжение)

Дмитрий Урнов вспоминал, как Кожинов буквально врвался в его жилище хоть в полдень, хоть за полночь с криком: “Хватит спать! Слушай! Потом мемуары писать будешь!” И тут же заставлял пришедшего с ним Передреева читать новые стихи или представлял скромно притулившегося возле стенки Битова...

А когда в 1965-м вышла книга Бахтина “Творчество Франсуа Рабле”, Кожинов носился, как угорелый, по домам своих друзей и впихивал свежие экземпляры им в руки: “Читайте! Внимайте! Думайте!”

Уже в одном из номеров “Вопросов литературы” за 1965 год книга Бахтина стала предметом живейшего обсуждения. Борис Бурсов, отметив как “чрезвычайно современную работу” трёхтомную “Теорию литературы”, обратился к бахтинской книге:

“Большую известность получают у нас работы М. Бахтина. Его книга о Рабле, как и предшествующая книга о Достоевском, увлекает с первых страниц. И вот что удивительно: мысль излагается с математической точностью, но оставляет впечатление необычайной живости изложения. Сила М. Бахтина – в анализе взаимодействия всех частей и элементов художественного организма. Логика доказательств очень сильна. Но, может быть, в этой логике заключена и слабость всего анализа. Всё-таки художественный организм – не механизм. У М. Бахтина выпадает личность писателя, и поэтика его рассматривается как “чистая”, внеличностная система – закрытая и самодовлеющая. Она берётся вне соотношения с другими системами и возводится в абсолют. Так было в работе о Достоевском, так и в работе о Рабле...”

Смысл этого пассажа мгновенно уловил Пётр Палиевский. Обвинение Бахтина в “механистическом” подходе к литературному произведению рикошетом било в его учеников, отрицавших любой “механицистский” подход к литературному произведению. И Палиевский ответил:

“...Литературоведение не может быть целиком логическим; в нём есть сторона, не поддающаяся прямому логическому конструированию, и когда литературовед стремится быть только последовательным, строго научным, ему грозит утрата того драгоценного содержания литературы, ради которого, собственно, литература и существует в жизни общества и для каждого отдельного человека. Эта проблема является и литературной, и общественной, она затрагивает и представление о человеке, и его отношение к созданным им

инструментам; но здесь, в литературоведении, благодаря живости предмета, она стала особо неотложной...

Я не согласен поэтому с критикой Б. Бурсовым работы М. Бахтина. Погружение “в писателя” вовсе не означает отдаления от социальных проблем, скорее, напротив. Для меня эти работы как раз отличаются введением социологического измерения в существо дела – до сих пор оно слишком часто бывало только внешним. М. Бахтин делает попытку взломать внешность и открыть пути для движения в философских, социологических и других формах мысли собственно художественной концепции Достоевского, раздвигающей понятие о человеке, то есть объяснить значение его художественной идеи для общества, ответить на вопрос, что же именно в нём гениального, необходимого людям и нового... Я не хочу сказать, что метод Бахтина является обязательным, единственно преодолевающим встающие перед литературоведением трудности. Работа о Рабле своим профессорским языком может отчасти способствовать “овнешнению”, против которого М. Бахтин выступает. Например, он говорит: “И бытовые пирушки не обходились без элементов смеховой организации”. Но в целом для современного литературоведения книги М. Бахтина являются исключительно ценными...”

Это лишь начало тех ошибок вокруг бахтинского труда, которые в дальнейшем обретут содержание, уже не имеющее никакого отношения к книге “Творчество Франсуа Рабле”... В 1978 году в Москве выйдет книга великого Алексея Лосева “Эстетика Возрождения” – 50 000 экземпляров разойдутся в считанные месяцы, – и эта книга перевернёт у многих устойчивое представление об одной из самых ярких и противоречивых эпох в истории человечества. И, наверное, в этой книге содержалась последняя предметная критика бахтинского подхода к миру средневекового автора:

“Дело в том, что материализм подлинного Ренессанса всегда глубоко идеен, и земное самоутверждение человеческой личности в подлинном Ренессансе отнюдь не теряет своих возвышенных черт, наоборот, делает его не только идейным, но и красивым и, как мы хорошо знаем, даже артистическим. У Рабле с неподражаемой выразительностью подана как раз безыдейная, пустая, бессодержательная и далёкая от всякого артистизма телесность. Вернее даже будет сказать, что здесь мы находим не просто отсутствие всяких идей в изображении телесного мира человека, а, наоборот, имеем целое множество разного рода идей, но идеи эти – скверные, порочные, разрушающие всякую человечность, постыдные, безобразные, а порою даже просто мерзкие и беспринципно-нахальные. Историки литературы часто весьма спешат со своим терминном “реализм” и рассматривают эту сторону творчества Рабле как прогресс мирового реализма. На самом же деле о реализме здесь можно говорить только в очень узком и чисто формальном смысле слова, в том смысле, что в реализме Рабле было нечто новое. Да, в этом смысле Рабле чрезвычайно прогрессивен; те пакости, о которых он с таким смаком повествует, действительно целиком отсутствовали в предыдущей литературе. Но мы, однако, никак не можем понимать реализм столь формалистически. А если брать реализм Рабле во всем его содержании, то перед нами возникает чрезвычайно гадкая и отвратительная эстетика, которая, конечно, имеет свою собственную логику, но логика эта отвратительна. Мы позволим себе привести из этой области только самое небольшое количество примеров. Часть этих примеров мы берём из известной книги М. М. Бахтина о Рабле, однако несколько не связывая себя с теоретико-литературными построениями этого исследователя, которые часто представляются нам весьма спорными и иной раз неимоверно преувеличенными... Итак, реализм Рабле есть эстетический апофеоз всякой гадости и пакости. И если вам угодно считать такой реализм передовым, пожалуйста, считайте”.

Что же Лосев считал у Бахтина “весьма спорным и иной раз неимоверно преувеличенным”? Видимо, следующие наблюдения Михаила Михайловича:

“В произведении Рабле обычно отмечают исключительное преобладание материально-телесного начала жизни: образов самого тела, еды, питья, испражнений, половой жизни. Образы эти даны к тому же в чрезмерно преувеличенном, гиперболизированном виде. Рабле провозглашали величайшим поэтом “плоти” и “чрева”... обвиняли его в “грубом физиологизме”, в “биологизме”, “натурализме” и т. п. ... Все эти и подобные им объяснения являются не чем иным, как различными формами модернизации материально-телесных

образов в литературе Возрождения; на эти образы переносят те суженные и измененные значения, которые “материальность”, “тело”, “телесная жизнь” (еда, питье, испражнения и др.) получили в мировоззрении последующих веков (преимущественно XIX века)... В отличие от канонов нового времени, гротескное тело не отграничено от остального мира, не замкнуто, не завершено, не готово, перерастает себя самого, выходит за свои пределы. Акценты лежат на тех частях тела, где оно либо открыто для внешнего мира, то есть где мир входит в тело или выпирает из него, либо оно само выпирает в мир, то есть на отверстиях, на выпуклостях, на всяких ответвлениях и отростках: разинутый рот, детородный орган, груди, фалл, толстый живот, нос. Тело раскрывает свою сущность как растущее и выходящее за свои пределы начало, только в таких актах, как совокупление, беременность, роды, агония, еда, питье, испражнение. Это вечно неготовое, вечно творимое и творящее тело, это звено в цепи родового развития, точнее – два звена, показанные там, где они соединяются, где они входят друг в друга...

Поэтому у Рабле нет и не может быть ни “грубого натурализма”, ни “физиологизма”, ни порнографии. Чтобы понять Рабле, надо его прочесть глазами его современников и на фоне той тысячелетней традиции, которую он представляет...”

Но полемические пассажи Лосева не ограничились “материально-телесными образами”. Наиболее жёстким сказалось его отношение к смеху у Рабле:

“Комический предмет у Рабле не просто противоречив... Дело в том, что такого рода смех не просто относится к противоречивому предмету, но, кроме того, он ещё имеет для Рабле и вполне самодовлеющее значение: он его успокаивает, он излечивает всё горе его жизни, он делает его независимым от объективного зла жизни, он даёт ему последнее утешение, и тем самым он узаконивает всю эту комическую предметность, считает её нормальной и естественной, он совершенно далёк от всяких вопросов преодоления зла в жизни. И нужно поставить последнюю точку в этой характеристике, которая заключается в том, что в результате такого смеха Рабле становится рад этому жизненному злу, <о> <есть> он не только его узаконивает, но ещё и считает своей последней радостью и утешением... Это, мы бы сказали, вполне сатанинский смех. И реализм Рабле в этом смысле есть сатанизм...”

А вот что писал о раблезианском смехе Бахтин:

“... Средневековый смех побеждал страх перед тем, что страшнее земли. Все неземное страшное оборачивалось землёю, она же – родная мать, поглощающая, чтобы родить сызнова, родить большее и лучшее. На земле не может быть ничего страшного, как не может его быть на материнском теле, где кормящие сосцы, где рождающий орган, где тёплая кровь. Земное страшное – это детородный орган, телесная могила, но она расцветает наслаждением и новыми рожденьями...”

Таким образом, недоверие к серьёзному тону и вера в правду смеха носили стихийный характер. Понимали, что за смехом никогда не таится насилия, что смех не воздвигает костров, что лицемерие и обман никогда не смеются, а надевают серьёзную маску, что смех не создает догматов и не может быть авторитарным, что смех знаменует не страх, а сознание силы, что смех связан с производительным актом, рождением, обновлением, плодородием, изобилием, едой и питьём, с земным бессмертием народа, что, наконец, смех связан с будущим, с новым, с грядущим, очищает ему дорогу. Поэтому стихийно не доверяли серьёзности и верили праздничному смеху.

Настоящий смех, амбивалентный и универсальный, не отрицает серьёзности, а очищает и восполняет её. Очищает от догматизма, односторонности, окостенелости, от фанатизма и категоричности, от элементов страха или устрашения, от дидактизма, от наивности и иллюзий, от дурной одноплановости и однозначности, от глупой истошности. Смех не даёт серьёзности застыть и оторваться от незавершённой целостности бытия. Он восстанавливает эту амбивалентную целостность...”

Лосев читал Рабле и бахтинскую работу о нём глазами человека нового времени, в пределах “суженных и изменённых значений” – и Бахтин своеобразно предвидел именно такую реакцию на свою концепцию “материально-телесного низа” в анализе “Гаргантюа и Пантагрюэля”... Пройдут ещё десятилетия – окажется (точнее, не окажется, а будет вдалбливаться в голову отечественного читателя), что Бахтин “хотел быть снарядом в определённой

войне и стал им”, что “снарядом “Бахтин” должно было быть поражено Идеальное. Идеальное как таковое...” Дескать, “этому служит теория смеховой культуры (смех как средство разрушения той же смысловой вертикали. Этому служит, наконец, специфическая апологетика Низа, которой Бахтин занимался, исследуя творчество Франсуа Рабле... Бахтин превращает раблезианство в универсальную технологию, в технологию на все времена...” Тут-то и впору прикрикнуть на “непонимающих”, озирающихся в недоумении читателей, имеющих хотя бы приблизительное понятие об историзме: “Не для того на вас спустили с цепи Рабле и Бахтина, чтобы вы наслаждались классической религией вообще и христианством в особенности...” Кто спустил? Вадим Валерианович Кожинов! Само собой, не сам. С помощью будущего (!) председателя КГБ Ю. Андропова, который, заняв сей пост, поспособствовал переселению М. М. Бахтина из Саранска в Москву!

Это всё было написано и опубликовано через 30 с лишним лет после смерти Бахтина и почти 10 лет спустя после ухода Кожинова, который наверняка от души рассмеялся бы, прочтя нечто подобное, утверждающее его в качестве невероятно могущественной, крайне конспирологической, таинственной фигуры, осуществляющей некую “спецоперацию”... Да-да, без всяких шуток, ибо автор сего замечательного сочинения под названием “Кризис и другие” далее пишет, что, оказывается, в ИМЛИ Кожинов через Эльсберга был приобщён к некоей “спецтематике”. Ибо “в 1969 году (то есть через десять лет после письма литературоведов) Бахтин при очевидной поддержке Андропова переехал из Саранска в Москву... И что? Нет никакой связи между письмом 1960 года, не повлекшим никаких последствий для подписантов, и особым интересом Андропова к Бахтину?” Ну, конечно же, есть! Ибо в “Творчестве Франсуа Рабле” Бахтин, оказывается, прокламировал “выворачивание мира наизнанку”... Утверждал образ “толпы, ОСВОБОЖДЁННОЙ с помощью смеховой культуры... от всего высокого. И в силу этого превращённой в зверя из Бездны...” Вывод, что называется, напрашивается сам собой: “Чего хотел Андропов от Бахтина?... Может быть, того, чтобы оскал вышедшего из бездны Зверя всех ужаснул... А может быть – триумфа Зверя. Установления его всевластия, то есть Ада. Но перестройка подарила нам этот Ад...”

Другими словами, Бахтин и Кожинов – предтечи перестройки. Да и как могло быть иначе? Ведь “В. Кожинов работал в Институте мировой литературы (ИМЛИ). Конкретно – в Секторе теории литературы... В этом же Секторе работала моя мать. Она проработала в этом Секторе вместе с Кожиновым более двадцати лет... В ИМЛИ, как и в любом другом институте, была спецтематика. Кто-то (в том числе и моя мать) от неё шаркался, как от огня. А кто-то к ней охотно приобщался... Кто именно отвечал требованиям спецтематики, а кто им не отвечал – тоже было известно. Работавший в Секторе Г. Л. Абрамович не отвечал. А Я. Е. Эльсберг, руководивший Сектором с 1956 по 1964 год, – отвечал...”

Пора, наконец, назвать автора сего головокружительного опуса. Сергей Ервандович Кургинян, сын Марии Сергеевны Кургинян, действительно, работавшей в Секторе теории ИМЛИ рядом с Кожиновым и принимавшей посильное участие в трёхтомнике “Теория литературы”. Пётр Васильевич Палиевский в одном из наших разговоров назвал Марию Сергеевну “ортодоксальной марксисткой”.

... Думаю, не открою большого секрета, если скажу, что в этом секторе (не говоря уже об ИМЛИ в целом) отношение к Кожинову было далеко не однозначным и не единодушным. Были и персонажи (в не слишком малом количестве), которые Вадима Валериановича попросту ненавидели. Не рискну утверждать, что чувство Марии Сергеевны по отношению к нему можно определить словом “ненависть”, но то, что здесь не было даже тени симпатии, едва ли подлежит сомнению... И едва ли можно сомневаться в том (сам Сергей Ервандович этого практически не скрывает), что эмоциональный запал по отношению к Кожинову перешёл к автору “Кризиса...” по наследству от его матери.

Но запала, естественно, недостаточно. Нужно подвести под свои “построения” солидную идеологическую базу... Сергей Кургинян, человек с богатой фантазией и ухватками театрального режиссёра, не пожалел сценических красок для расписанного им “действия” “диверсии” философа и литературоведа против Идеального с помощью председателя КГБ! Это не говоря уже о прямом извращении мысли Бахтина, который, говоря о “материально-телесном

низе”, говорил о земле, земной жизни и обо всём, что связано с ней... “Интерпретация” же Кургиняна однозначна: “Русские, добро пожаловать в Ад!” Туда приглашает сам Кургинян, приписывая это приглашение Бахтину.

Скажем прямо, человек, углубляющийся в “специсторию”, рискует не заметить течение и живые приметы реальной истории как таковой. Человек, увлечённый своими конспирологическими построениями, сплошь и рядом теряет из поля зрения течение живой жизни, перестаёт в принципе ощущать её материальное тело и духовную субстанцию... И здесь, пожалуй, самое время задать вопрос: читал ли Кургинян “Творчество Франсуа Рабле” или пользовался цитатами из книги, взятыми из трудов других авторов (в частности, того же Лосева)?

А ведь ни один из действительно читавших эту книгу не мог пройти мимо следующих основных её положений. Частично они уже приводились в нашей книге. Нелишне их напомнить.

“Все карнавальные формы последовательно внецерковны и внерелигиозны. (Заметьте — не антицерковны и не антирелигиозны! — **С. К.**) Они принадлежат к совершенно иной сфере бытия... Карнавал... — это особое состояние всего мира, реальная (но временная) форма самой жизни... Реальная форма жизни является здесь одновременно и её возрождённой идеальной формой... Карнавал — праздничная жизнь народа”, а “празднества связаны с кризисными, переломными моментами в жизни природы и человека...”

“Карнавальная пародия очень далека от чисто отрицательной и формальной пародии нового времени: отрицая, карнавальная пародия одновременно возрождает и обновляет. Голое отрицание вообще совершенно чуждо народной культуре...”

“Смех — универсален и направлен на всё и на всех (в том числе и на самих участников карнавала)... Смех амбивалентен: он и отрицает, и утверждает, и хоронит, и возрождает... Народ тоже незавершён, тоже, умирая, рождается и обновляется”.

“Чистый сатирик... знающий только отрицательный смех, ставит себя вне осмысливаемого явления... Фамильярный контакт в современном быту очень далёк от вольного фамильярного контакта на народной карнавальной площади. Ему не хватает главного: всенародного, праздничного, утопичного осмысления, мирозерцательной глубины... Явления эти... мерились не своей мерой, а чуждыми им мерами нового времени. Их модернизировали, и потому давали им неверное истолкование и оценку...”

“Носителем материально-телесного начала... является... не обособленная биологическая особь и не буржуазный эгоистический индивид, а народ, при том народ в своём развитии вечно растущий и обновляющийся. Все проявления... отнесены не к частному эгоистическому “экономическому” человеку... к народу, коллективному родовому телу...”

“Мы вовсе не утверждаем преимущества одного канона над другим, а устанавливаем только существенные различия между ними...”

“В романе Рабле “страх уничтожен в самом зародыше и всё обернулось весельем. Это самое бесстрашное произведение мировой литературы... В народном гротеске за маской всегда неисчерпаемость, многоликость жизни... Существующий мир оказывается вдруг чужим... именно потому, что раскрывается возможность подлинно родного мира, мира золотого века, карнавальной правды. Человек возвращается к себе самому... Утопический момент разыгрывается и переживается всем человеком, цельным человеком, и мыслью, и чувством, и телом... В гротеске — смерть входит в целое жизни как её необходимый момент, как условие её постоянного обновления и омоложения...”

“Один раз в истории (выделено мной. — **С. К.**) — на 50–60 лет — смех в его весёлой форме прорвался в большую литературу и высокую идеологию — “Декамерон”, Рабле, Сервантес, Шекспир...”

Это лишь выдержки из вводной части к “Творчеству Франсуа Рабле”, веши, расставляемые Бахтиным для понимания всего последующего.

Впрочем, смотря как читать. Кургиняну наверняка пришлось бы по душе “прочтение” бахтинской книги Борисом Шрагиным, о которой последний вспоминал в следующих выражениях:

“В те годы вышла в свет и заслужила успех книга Бахтина “Творчество Франсуа Рабле”. Не было уважающего себя московского интеллектуала, который бы её не прочитал... В Москве каждый прочитывал хорошую книгу,

которую удавалось протащить сквозь идеологические фильтры. Но помимо этого общего соображения, успех бахтинского исследования о Рабле объясняется ещё и нечаянной причастностью её тогдашним московским настроениям. Бахтин писал об извечной близости высокого и низкого, прекрасного и гротескного, благородных порывов и, как он выражался, “материально-телесного низа”. С его лёгкой руки вошло в бытовое обиход и там закрепилось учёное словцо “амбивалентность”. Так вот, эта амбивалентность как нельзя лучше определяла духовную атмосферу Москвы 60-х годов. И было приятно сознание, что не только мы таковы, но и всё великое в мировой культуре – тоже (выделено мной. – С. К.)”.

Т а к прочитать книгу Бахтина – равнозначно тому, что не читать её вообще, пропустить мимо зрения и слуха все её основополагающие константы... Затвердить словечки “карнавальность”, “материально-телесный низ”, “амбивалентность”, вырванные не то что из текстуального контекста – из исторического... А самое главное – ощутить при этом “приятствие” от своей “причастности” мировой культуре, вульгаризировав в своём сознании всё, еле-еле переваренное из плохо усвоенного у Бахтина.

Правда, Бахтин заранее предрёк возможность подобного “прочтения”. Он сослался на “выдающегося немецкого литературоведа” Вольфганга Кайзера, увидевшего в “Гаргантюа и Пантагрюэле” “только модернистский гротеск” и охарактеризовавшего раблезианский смех как “сатанинский” (задолго до Лосева)... Был предсказан и своеобразный “Кургинян” со своим конспирологическим подходом:

“Современники понимали как явления единого большого стиля то, что люди XVII и XVIII веков стали воспринимать как странную индивидуальную идиосинкразию Рабле или какой-то шифр, криптограмму, заключающую в себе систему намёков на определённые события и на определённых лиц эпохи Рабле”...

Реальный Кургинян, человек XX–XXI века, пошёл ещё дальше. Он оценил и книгу Рабле, и труд Бахтина как “шифр” и “криптограмму”, “закодировавшие” способы разрушения государства. Как иначе определить его “отмычки”: якобы коллективное письмо, написанное Кожинным Бахтину (давно забытому в столице и не питавшему никаких надежд на публикацию своих сочинений), есть всё та же “спецтематика”; что нечего кивать на дочь Андропова Ирину, работавшую в серии ЖЗЛ издательства “Молодая гвардия” – не её, якобы, стараниями Бахтин был положен в Кремлёвскую больницу на лечение, а потом получил прописку в Москве... Это Андропов с подачи Кожина подорывал устои государства...

Пожалуй, хватит. Понятно, думаю, любому здравомыслящему человеку, что председатель КГБ и не открывал бахтинскую книгу. И удивительно, как это Кургинян пропустил в своей конспирологии Владимира Николаевича Турбина, в чьём лермонтовском семинаре училась Ирина Андропова, с которым она состояла в сердечной переписке и к которой Турбин мог обратиться напрямую, чтобы войти в кабинет её отца; с ним (по турбинским воспоминаниям) состоялся запоминающийся разговор:

– Да мало ли, – неожиданно сказал мне Юрий Андропов, – мало ли чем нам заниматься приходится! Мы недавно тут звездочётов принимали. Астрологов...

– Гм, – сказал я, признаться, донельзя заинтригованный, ошарашенный даже, – и как, интересно было?

– Ин-те-рес-но! – загадочно сверкнул очками Андропов, и тотчас же разговор как бы сам собой перешёл на другое. Михаил Бахтин, глубина и широта его откровений, прозаический вопрос о его переезде из Мордовии, из Саранска в Москву”.

Как насчёт “спецтематики” Владимира Турбина, Сергей Ервандович?

...Ну, а если серьёзно, то настоящий разговор о раблезианском смехе – его смысле – состоялся ещё до выхода книги. 12 февраля 1965 года Кожин писал в Саранск:

“Дорогие Елена Александровна и Михаил Михайлович!

Посылаю Вам два (точнее, три) “материала” – письмо С. А. Лейбович и отзыв Г. А. Соловьёва на “Рабле” + одно из его замечаний к работе. Признаюсь Вам, что я сам предложил Соловьёву передать Вам отзыв (отзыв написан

3 месяца назад! — 11 ноября). Он почему-то не решался послать его Вам. Но, по-моему, будет гораздо лучше, если Вы узнаете его истинные мнения о “Рабле”. Кстате сказать, Ваша вставка о проблеме “серьёзности” (точнее, соотношения смеха и серьёзности — 4 странички к 199 стр<анице> работы) в известной мере снимает его замечания. Не знаю, написали ли Вы их потому, что я передал Вам смысл замечаний Г. А.; во всяком случае, я специально показал ему эти страницы, заметив, что они сделаны в ответ на переданное мною Вам его мнение (помните, я говорил о его критике, что Вы, дескать, абсолютизируете смеховое начало).

(Замечу в скобках: не обижайтесь на мой дикий слог; вчера ко мне приехали гости из Одессы, и я почти не спал — теперь голова плохо работает).

Итак, об отзыве Г. А. Вы увидите, что критика серьёзная, принципиальная. Он противопоставляет Вам оптимистическую концепцию исторического развития известного толка. Вместе с тем, — думаю, вы увидите и это — в его критике нет ровно ничего угрожающего. Сам он — я уверен в этом — готов издать книгу без всяких изменений. Он, кстати, очень был доволен, что Вы пошли навстречу ему в упомянутой вставке. Правда, он выразил пожелание несколько развернуть эту проблему. Но это совсем не обязательно.

Да, самое главное. Отзыв этот — неофициальный, его никуда не передавали и не передадут. Он написал его в точном смысле слова для себя. Он даже не собирался (всерьёз, во всяком случае) передавать его Вам. Но так как вполне возможно, что в какой-то момент он вдруг мог решиться дать его Вам как мнение редакции, я счёл правильным послать его Вам как можно раньше (до сих пор Г. А. не хотел даже мне его показывать, это вообще человек со сложной и отчасти болезненной психикой, в частности, с несколько болезненным самолюбием). Вы можете теперь спокойно обдумать Ваше отношение к отзыву. Особенно важно, что С. Л. разделяет замечания Г. А. (об этом она, кстати, и сама пишет); при встрече с Вами она будет высказывать примерно те же пожелания.

Чтобы вся картина была ещё яснее, позволю себе изложить ситуацию шире, — хотя письмо, видимо, получится слишком длинное и утомительное. Дело в том, что Ваша работа оказалась огромной, даже преобразующее воздействие на Г. А. Он прочёл её внимательнейшим образом (это явствует из его пометок на экземпляре, который он читал), и она буквально подняла на новую ступень всё его сознание. В этом убеждает, в частности, его рецензия. Если бы Вы посмотрели его предшествующие работы (статьи в “Вопр<осах> литературы” или книжку о Добролюбове, вышедшую в прошлом году), Вы не поверили бы, что этот человек мог написать столь серьёзную и по-своему даже “блестящую” статью о Вашей книге. Вы же знаете, как обычно ничтожна и бьёт мимо цели наша критика (кстати, читали ли Вы уже статью Бурсова о Вашем “Достоевском” во 2-м номере “Октября” за 1965 год? Это небезынтересно, в частности, он критикует Вас с националистической позиции, на которой он недавно утвердился — в своей книге “Национальное своеобразие русской литературы”, 1964; вообще национальный вопрос приобретает сейчас невероятную остроту).

Так вот, Г. А. явно (это чувствуется в разговоре с ним всё время) испытывает громадную — хотя, быть может, неосознаваемую — благодарность и глубочайшее уважение к Вам. Я думаю, что это очень хорошо. Книга безусловно — я думаю так — выйдет в этом году...

Не могу не оговорить: не подумайте, что я не понимаю глубочайшего смысла Вашей постановки вопроса о той подлинной научной серьёзности, которая лишена догматизма (как и подлинная трагедия, и подлинный смех), ибо проблемна, самокритична и незавершима (превосходная автохарактеристика; эта вставка была необходима! — Вы ввели ею себя в мир Вашей книги)...”

Геннадий Арсеньевич Соловьёв, литературовед старшего поколения, заведовал в “Художественной литературе” редакцией критики и литературоведения и напрямую отвечал за выход книги Бахтина. Его отзыв стоит внимательно перечитать и ныне — настолько он отличается по своему смыслу и тону от многих последующих “экскурсов” в эту тему. В частности, он писал:

“Смех утверждал жизнь народа, его деятельность ради своих потребностей — ради глотки, брюха, плоти, радости общения и т. д., и это утверждение было по необходимости консервативным, так как двигаться вперёд — значило пуститься в отчуждающий мир. Смех отрицал иерархию сословий, и это

отрицание было революционным, но революция означала гибель утверждающего смеха. Наконец, эта гибель — тоже, как говорилось, амбивалентна, из гибели средневекового смеха должна родиться какая-то другая форма амбивалентного смеха, потому что отчуждение человека, его человеческая трагедия — не вечна, она — путь к высшей человечности, к возвращению человечеству человека как цели, и в этом смысле утверждающая сторона средневекового смеха, его консервативная сторона — в перспективе громадных эпох — оказывается революционной, утопическим прообразом революции, выводящей в человеческий мир. Утопия имеет свою реальность”.

И 20 февраля Бахтин написал ответное письмо:

“Присланные Вами замечания Г. А. Соловьёва меня поразили: они очень интересные, умные и в высшей степени благородные по своему тону. Это действительно блестящая статья о моём “Рабле”. Я их тщательно подумал и постараюсь удовлетворить его пожеланиям с помощью вставок и некоторых изменений в формулировках (без изменения существа концепции). Надеюсь, что мне это удастся (хотя это и не так легко сделать)... С нетерпением ждём Вашего приезда (обязательно с Еленой Владимировной) в марте и тогда поговорим обо всём. Мы последнее время болели, но сейчас всё относительно благополучно...”

* * *

18 ноября 1965 года у Кожиновых родилась дочь, названная Сашенькой, — и в этот же день скончался Владимир Владимирович Ермилов.

Словно сама жизнь подтверждала слова Бахтина из “Творчества Франсуа Рабле”: смерть, чреватая рождением.

Похороны же Ермилова и поминки по нему обернулись, мягко говоря, неприятными странностями. Очевидцы потом вспоминали, что возле гроба, выставленного в Центральном доме литераторов, никого не было, кроме родных, и пришлось срочно собирать служащих дома — вплоть до уборщиц... А на поминках произошёл инцидент, о котором много лет спустя написал (соответственно “творчески” его преобразовав) Андрей Битов.

В 1989 году он опубликовал в “Новом мире” “Близкое ретро, или Комментарии к общеизвестному” — своего рода примечания к отдельным реалиям романа “Пушкинский дом”. Воспроизвёл он там и сцену поминок, поименовав действующих лиц фамилиями персонажей Достоевского... Только теперь отсылки шли не к “Идиоту”, а к “Бесам” (с вкраплениями “Преступления и наказания”), и Кожинов (в отличие от ранней “Виньетки”) теперь фигурировал не “Рогожиным”, а “Шатовым”, под именем же “Верховенского” нетрудно было угадать Петра Палиевского...

“В 1965 году я попал на поминки Е. (без всякого правильного смысла: я с ним не был даже знаком, не был и на похоронах... — по-достоевски, по-русски...). Это был человек страшной репутации, бандит и убийца, главарь 1949 года (ни больше, ни меньше! — С. К.)... По рассказам, под конец жизни он не мог читать ни одной строчки выпестованной им литературы, ушёл в затвор, читал только Чехова и Достоевского... Я застал поминки в разгаре... Были тут и Свидригайлов, и шарж на Ставрогина, и копия Верховенского, и два-три Лебядкиных... Верховенский не пил, остальные — много... О покойниках плохо не говорят, и все начинали хорошо, отмечали размах и талант (к тому же и в ораторах было мало чего кристального), но потом как-то вдруг скатываясь в глубокое “но” и, выкарабкиваясь из него, кончали прямым поношением. И так было с каждым... В жизни не представлял себе таких поминок!.. И тут Верховенский обнаружил пропажу тридцати рублей. Все только этого и ждали — что началось! Какая изысканность предложений и предположений... Никому не выходить, всех по очереди обыскать... Единогласно нашли жертву — ею оказалась самая молоденькая и смазливая (и бедная!) девушка, которую привёл Шатов, под неизвестной фамилией. Она — отрицать и в слёзы. Они (актив, миглом сложившаяся звёздочка, пятёрка...) — шмонать. Обсудили технику. Удалились, волоча её за собой. (Сам Шатов с выражением непреклонной образцовости подталкивал её в спину, назидательно увещевая.) Верховенский в радостном комсомольском возбуждении был впереди и всюду вокруг (он был похож и на более современного

вожака — Олега Кошевого). В общем, её раздели в специально отведённой комнате — меня там не было, — ничего не нашли. Снова было предложено шмонать. Не помню, как я вырвался, унося эту сцену в зубах, трепеща от этого подарочка по линии опыта: уж куда-нибудь у меня эта сценочка войдёт, не денется!.. И придумывать ничего не надо... Так целиком и плюхнется в роман, как в болото, разбрызгивая главы... Несколько лет держал я эту главу в запасе, да вот всё романа подходящего не писалось... И — не пришлось. Перечитал-таки “Преступление и наказание”, дошёл до поминок Мармеладова, и глаза на лоб полезли: один к одному!..”

Что и говорить — инцидент пренеприятнейший. Но каков Битов! Столько лет “держать в запасе” сей сюжетец — и вывалить его в самый нужный момент! Умно, хладнокровно, с подтекстом. Помимо всего прочего — оболгать своего бывшего друга, а себя — любимого — выставить внимательным очевидцем, предусмотрительно, отстранив от самой отвратительной сцены (“меня там не было”)... И, дескать, догадывайтесь сами — кто тут есть кто!

Кожинову и догадываться было нечего. И не ответить он Битову не мог, что и сделал через некоторое время на страницах журнала “Москва”.

“Милостивый государь!

Вы напрасно уверяете себя и читателя... что попали на поминки Е. случайно (“без всякого правильного смысла...”). Потому что как следует из Вашего описания, Вы шли туда с намерением и целью, быть может, и скрываемой от себя: именно — заполучить “сюжетец”, “картинку”, которую затем можно будет “плюхнуть” в очередное из Ваших изящных творений, что — поздравляю! — Вам наконец-то и удалось (не таков ли вообще Ваш творческий принцип взаимоотношений с жизнью и людьми?). Не оттого ли и испытанный Вами трепет “от этого подарочка по линии опыта”, свалившегося как с неба, впридачу с дармовой, надо думать, выпивкой?..

Полагаю, впрочем, что Вы могли и не ходить на те самые поминки. Потому что “сюжетец”, Вами поведанный, по существу был вполне готов до них — в Вашем воображении, откуда он и был почерпнут, хотя и с прискорбным для Ваших литературных успехов запозданием. Потому как возьми Вы его и впрямь из жизни, Вы, думаю, попросту не смогли бы те самые поминки так беспардонно исказить. Ведь тут что ни пункт, то неправда или полуправда, что и того хуже.

Неправда, что Вы не были “даже знакомы” с усопшим, ибо это он, тот самый Е., опубликовал незадолго до своей смерти статью, одобряющую и защищавшую Ваше в то время гонимое творчество (в том же “Близком ретро...”). Битов, правда, приписал хвалебную статью о “Большом шаре”... Эльсбергу, снабдив своё “приписывание” соответствующим комментарием: “Я ему обязан критической поддержкой. В именах, которые он хвалит, виден не утраченный в доносах литературный вкус. Хвалит он с тем же деловым цинизмом, с каким, по-видимому, когда-то ругал”. — **С. К.**) . Так что, по крайней мере, заочно (а это тоже знакомство) Вы друг друга неплохо знали.

Неправда, что выступавшие на поминках “кончали прямым поношением” (“и так было с каждым”) покойника. Неправда хотя бы потому, что в числе “ораторов”, как Вы их называете, были родная сестра Е., его жена и другие родственники. Неужели и они... шельмовали своего усопшего брата, мужа и т. д. или спокойно выслушивали нечто подобное?

Неправда, что вдруг была обнаружена “пропажа тридцати рублей” (кстати, почему не, скажем, сорока, пятидесяти? Не тридцать ли это “сребреников”, столь эффектных и столь же “новых” в литературе?) Пропали (и это, увы, сушая правда!) деньги и другие вещи (в частности, часики) из сумочек нескольких женщин, так же, уверяю Вас, небогатых, пришедших помянуть покойного. И не “Верховенский” обнаружил — не пропажу, а кражу, — но одна из потерпевших, увидевшая, как “молоденькая” и смазливая... девушка, которую привёл “Шатов, под неизвестной фамилией”, копается в её сумочке.

Воровка, увы, действительно была обыскана по требованию потерпевших и кем-то из них, при согласии самой виновницы, успевшей, как выяснилось через несколько дней, спрятать похищенное в ванной комнате. Как бы ни оценивать это скверное происшествие — правда (и Вы не могли её не знать) состоит в том, что оно крайне усугубило и без того подавленное состояние присутствующих на поминках. И всего более того приятеля “молоденькой”

и смазливой девушки, который, вопреки Вашему утверждению, не только не содействовал обыску, но и узнал о нём лишь день спустя. В противном случае этот человек, смею Вас заверить, сделал бы всё, чтобы не допустить отвратительной для всех акции, приняв всю ответственность за возникшую ситуацию на себя. Ведь он и ранее этого жуткого события замечал за своей “бедной” подругой подобные же поползновения, но не хотел поверить сам себе.

А теперь о Вашем “сюжете” в целом.

Он прост до наивности и самолюбивого ребячества. Судите сами: растленные, пьяные, жрущие свидригайловы, лебядкины, ставрогины и прочая, с одной стороны, и непорочный, аки Христос, застенчивый, нравственно оскорблённый Литератор, будущий Романист – с другой...

...Что же касается того, Достоевский ли (“Преступление и наказание”) предшествовал Вашей картине поминок или собственное Ваше воображение упредило Достоевского, то здесь я решительно с Вами не согласен. Боюсь, что Ваша начитанность в данном случае сыграла с Вами плохую шутку: оригинал Ваших “поминок” принадлежит не Вам, но творцу “Преступления и наказания” (см. поминание Мармеладова). Вы же только низвели его до своего уровня.

И второе. О поношениях по адресу почившего в бозе Е. Не кажется ли Вам, что совершил их, причём тиражом в полтора миллиона экземпляров, только один из присутствовавших тогда на поминках – именно Вы? А для “масштабности” пристегнули к покойнику и тех, кто собрался отдать ему причлнствующую в этих печальных случаях дань.

Остаюсь
недостойный Вашей чистоты и честности
Шатов с неизвестной фамилией”.

Спустя некоторое время после публикации этого письма Кожинов и Битов встретились в кулуарах Центрального дома литераторов. Битов бросил сосредоточенный взгляд на бывшего друга и молча прошёл мимо. Вадим Валерианович не стал его останавливать.

* * *

... 15 декабря 1965 года Кожинов написал своему старшему сослуживцу по ИМЛИ, автору книг о Плеханове, Белинском, Чернышевском и Шевченко Николаю Фёдоровичу Бельчикову. Чрезвычайно интересно увидеть здесь, какие творческие задачи ставил в это время перед собой Вадим Валерианович.

“Глубокоуважаемый и дорогой Николай Фёдорович!..

Хочу сообщить Вам, что в тот самый день, 18 ноября, через 2 часа после смерти Владимира Владимировича родилась его внучка (то есть моя дочь) Александра. Он словно передал ей жизнь... Он умер, возвратившись из родительного дома, куда он ездил узнать о состоянии дочери...

Так странно складывается иногда жизнь... Но что же делать? Надо думать о той, которой он передал жизнь.

С большим интересом изучил книгу, посвящённую Вашей деятельности (речь идёт о книге “Н. Ф. Бельчиков. Библиография”, изданной в том же году. – С. К.). Мне были хорошо известны только основные Ваши работы, и я открыл для себя немало нового. В частности, меня очень заинтересовали работы “Тургенев и Вяземский”, “Достоевский и Тютчев”, “Приёмы изучения частных фондов” и почему-то совсем не известная мне вышедшая под Вашей редакцией книга “Иностранные писатели о русской литературе” (почему она описана по корректуре? Может быть, она просто не вышла в свет? Было бы очень жаль).

Ваша работа в целом сейчас особенно важна для меня в связи с тем, что я в ближайшее время, так сказать, меняю профессию. От теории литературы, которой я занимался более десяти лет, я перехожу к истории литературы в самом строгом смысле слова. Думаю, что это вполне закономерно и правильно. Выработав какой-то взгляд на природу искусства слова, я теперь надеюсь более или менее серьёзно потрудиться над изучением истории русской литературы. Сейчас меня более всего интересуют тридцатые годы XIX века (то есть

1826–1840). Это одна из самых великих эпох в истории нашей культуры – эпоха зрелого Пушкина, Баратынского, Гоголя, Лермонтова, Языкова, первой (и лучшей, на мой взгляд) половины Тютчева, Владимира Одоевского, Ивана Киреевского (“дославянофильского”), Вяземского, Чаадаева, молодых Хомякова, Шевырёва, Погодина, эпоха Полежаева, Кольцова и т. д., и т. п.

И при всём том – эпоха почти не изученная (я берусь хотя бы это доказать), эпоха, которую приходится изучать, прежде всего, по архивным материалам и затерянным в журналах и альманахах того времени публикациям.

Сейчас я приступаю к первой работе в этой области – “Проблемы реализма в русской литературе (или даже шире – культуре) тридцатых годов”. Работа пишется для сборника, издающегося в ИМЛИ под редакцией Н. Л. Степанова. . .”

Кожин вспоминал, как примерно в это же время, встретившись в очередной раз с Бахтиным, он пожаловался на то, что не может в полную силу работать над изучением теории литературы (ориентированной тогда преимущественно на изучение поэтики), что эта работа ему наскучила. . . Бахтин ответил, что это лишь естественно, что литературоведение – вспомогательная дисциплина: “всерьёз можно отдаться лишь философии и истории либо уж самой литературе”. . . Кожин вспомнил об этом разговоре в 1987 году и добавил, что “наука о литературе. . . должна гораздо полнее и глубже вобрать в себя философски-исторический смысл”. По сути же ему стало это ясно более двадцати лет назад.

Ещё 23 февраля 1964 года он делился с Бахтиным своими планами: “Книга моя наконец-то вышла, и я высылаю её Вам вместе с этим письмом. Особого (или, вернее, какого-либо) удовлетворения я не испытываю – книга мне совершенно не нравится. Её можно рассматривать только как некое запечатление моей невероятно затянувшейся молодости (и в жизненном, и в “научном” смысле). Но через это надо было перешагнуть. Сейчас мне мерещатся какие-то серьёзные работы, но получается, что они не “печатательны” по самой своей теме. Например, мне очень хотелось бы написать что-нибудь о русской литературе начала этого века, о её связи с тем, что Вы называете русским “мыслительством”. Но это, конечно, чистая утопия. Хотелось бы мне (опять утопия) написать что-нибудь о 20–40-х годах прошлого века, о фантастическом развитии русской художественной (и вообще) культуры от Любомудров до Аполлона Григорьева, понять всё это заново. Кстати сказать, на днях я взял в руки Баратынского и впервые по-настоящему понял этого совершенно гениального поэта. Его стихи последних лет – это какое-то чудо. Может быть, я увлекаюсь, но готов поставить его выше Тютчева, не говоря уж о Лермонтове. И какая невероятная судьба – никто в XIX веке Баратынского не понял, даже не прочитал. Да и в XX что-то странное. Так, Блок, восхищавшийся Полонским и воздавший должное Григорьеву, совсем прошёл мимо Баратынского – хотя, может быть, это самый близкий ему поэт. . .”

О делах нечего говорить. В последнее время нас (теоретиков) сильно бьют с самых разных сторон, и приходится огрызаться. . . Работать некогда. Да и стоит ли? . . .”

А в письме к Бельчикову он делился ещё одним своим замыслом, временно прося вспомоществования:

“Кроме того, я пишу небольшую книжку популярного характера “Дочь Фёдора Толстого” – о забытой русской поэтессе Сарре Толстой, умершей в 1838 году, 17 лет отроду. Белинский ставил её “Сочинения. . .”, изданные в 1839–1840 годах в один ряд со “Стихотворениями” Лермонтова. . . И в этом есть свой смысл. Я хочу воскресить – как призывал когда-то Н. Ф. Фёдоров – эту удивительную девушку.

Многое уже написано, но работа моя застопорилась из-за того, что я не могу найти ряда архивных материалов.

И вот в этой связи я осмеливаюсь обратиться к Вам за помощью. Не подумайте, что я делаю это, пользуясь, прежде всего, Вашим добрым ко мне отношением. Я обращаюсь к Вам как к крупнейшему авторитету в области архивного дела и источниковедения. К тому же, поверьте, я нисколько не буду обижен, если Вы не сможете уделить времени для моего дела, ибо Ваша занятость и Ваш возраст могут просто помешать Вам им заняться.

Итак, дело заключается в следующем. Мне необходимы любые архивные материалы, связанные с жизнью и деятельностью графа Фёдора Ивановича Толстого (Американца) (1782–1846), его дочерей Сарры Фёдоровны (1821–1838) и Прасковьи Фёдоровны (1831–1882) (в замужестве Перфильевой, жены известного друга Л. Н. Толстого), его жены Авдотьи Максимовны (1796–1861) (урождённой Тугаевой), его сестры Веры Ивановны (1783–1879, в замужестве Хлюстиной), а также учителя и издателя сочинений Сарры Толстой Михаила Николаевича Лихонина (1802–1864), известного в своё время переводчика и стихотворца.

Если бы можно было обнаружить какие-либо архивные материалы, связанные с этими лицами (мне это, несмотря на целый ряд попыток, не удаётся), я имел бы основание рассчитывать, что в этих материалах могут обнаружиться рукописи Сарры Толстой или какие-либо документы, свидетельства и т. д., проливающие свет на её жизнь и творчество (а также жизнь всей её семьи).

Нельзя не упомянуть здесь также о муже Прасковьи Фёдоровны, Василии Степановиче Перфильеве (1826–1890), который в 1878–1887 годах был московским губернатором (он, кстати, послужил прототипом образа Стивы Облонского). П. Ф. и В. С. Перфильевы были доверенными лицами Л. Н. Толстого во время его женитьбы, а на свадьбе – посаженными матерью и отцом. П. Ф. Толстая-Перфильева написала роман “Графиня Инна”, который дал Толстому материал для “Войны и мира” (роман этот остался в рукописи; местопребывание рукописи неизвестно).

С семьёй Ф. И. Толстого была тесно связана и тётка Л. Н. Толстого Александра Андреевна Толстая (1817–1894).

Несмотря на сравнительное обилие имён, мои поиски пока безрезультатны. Я имел несколько писем Ф. И. Толстого в фонде П. А. Вяземского (может быть, там есть и ещё что-нибудь, но я не знаю, как взяться...). Вообще у меня есть все основания думать, что мои неудачи обусловлены отсутствием опыта, чисто теоретическим знакомством с архивным делом...

Ваш Вадим Кожинов.

P. S.: Вы начали своё учение во Владимире. Не знали ли Вы тогдашнего инспектора мужской гимназии Василия Андреевича Пузицкого? Это мой дед, отец моей матери. Ему принадлежит популярный в те годы учебник “Отечественная история”.

К сожалению, никаких следов этой кожиновской работы разыскать не удалось. Но его письмо Бельчикову ценно, в частности, в том отношении, что вдребезги разбивает злонамеренный “миф” (в последнее время получивший широкое распространение), что Кожинов якобы никогда не работал в архивах, а пользовался в своей работе исключительно книжными источниками. Что правда – то правда: с книгой Вадим Валерианович умел работать, как мало кто, извлекая у разнообразных авторов информацию и наблюдения, на которые до него просто не обращалось пристального внимания. Но и цену работы с документами знал, даром, что жаловался на “отсутствие опыта”. 195-й фонд Петра Вяземского в ЦГАЛИ он изучил для своей книги о Сарре Толстой весьма основательно, более того, можно говорить, что этот его труд должен был стать трудом о целом роде, к которому принадлежал и Толстой-Американец... Во всяком случае, когда через много лет за книгу об этой “исторической личности” взялся основательный и проницательный исследователь жизни и творчества Пушкина Михаил Филин, он шёл по тем же следам, что и Кожинов в середине 1960-х.

* * *

В 1965 году произошло ещё одно событие, резонанс от которого прошёл по стране и особенно сильно отозвался в Институте мировой литературы.

О происшедшем Кожинов написал супругам Бахтиным в письме от 28 октября:

“У нас всё нормально... Все друзья и знакомые здравствуют и более или менее нормальны (разве только Гачева заносит). Палиевский побывал в Италии и в Париже – недели три всего, переполнен впечатлениями, очень доволен.

Не знаю, дошёл ли до Вас слух о неприятной истории. Арестован и находится под следствием Андрей Синявский, о котором я, очевидно, Вам что-либо говорил. По официальным данным, его обвиняют в том, что он печатал за рубежом произведения антисоветского характера (под псевдонимом). Он был сотрудником нашего института — отдела советской литературы...

В духовной жизни ясно обозначаются интересные явления. Есть какой-то кризис, переход, сдвиг. Но это долгий разговор...

Андрей Синявский был арестован 8 сентября 1965 года по обвинению в антисоветской агитации и пропаганде — именно так были квалифицированы его книжки, изданные в Париже и Нью-Йорке “Суд идёт”, “Фантастические повести”, “Любимов”, “Мысли врасплох” под псевдонимом “Абрам Терц”... В советском литературном мире он был известен как автор книги о Пикассо (совместно написанной с Игорем Голомштоком) и достаточно познавательного для тех лет научного труда “Поэзия первых лет революции” (его соавтором здесь был Александр Меньшутин). Что же до его прозы, — собственно говоря, она не представляла из себя ничего мало-мальски ценного, на этом сходились многие, её читавшие. Более того, на Западе его творения появились ещё до “Доктора Живаго”, но западным спецслужбам нужно было громкое имя и более или менее серьёзное произведение, а не “фантастические” фельетоны, подписанные никому не известным именем. Поэтому первая книжка была издана через год после пастернаковского романа — в 1959-м. И в общем шуме и рёве вокруг свежее испечённого Нобелевского лауреата на неё никто не обратил внимания.

Но сама история его ареста была довольно интересно “обставлена”: наши “органы” получили непосредственно от западных расшифровку псевдонима (потом утверждалось, что эта “утечка информации” была точно рассчитана: нужно было переключить внимание “Советов” с вьетнамской войны, в которую всё глубже и глубже влезали Соединённые Штаты, на собственную внутреннюю “проблему”)... Любопытно было и своеобразное “умолчание” нашей воинствующей пропаганды: предисловие к одной из книг Абрама Терца писал Борис Филиппов, эмигрант “второй волны”, известный в Европе и Северной Америке как поэт, прозаик, историк литературы; на него, в частности, ссылались как на матёрого антикоммуниста, расхваливавшего произведения Терца и Аржака (Синявского и Даниэля) на судебном процессе. И о нём же отечественные соответствующие структуры были прекрасно осведомлены, как о Борисе Филипповском — военном преступнике, организовавшем во время войны в Великом Новгороде так называемое “русское гестапо”... Об этом в открытой печати не было сказано ни слова, хотя, казалось бы — карты в руки! Вот кто пишет восторженные статьи об “отщепенцах”!... Но тут, судя по всему, велась своя игра.

Об этой игре ИМЛИ, естественно, не подозревал. Партийное бюро института было собрано с целью выяснить, как же ответственные товарищи (даром, что несколько лет назад громившие Синявского за работу, посвящённую Пастернаку) “не распознали” врага в добропорядочном (хотя и ошибавшемся) советском литературоведе... И ведь это был уже не первый подобный случай. Год тому назад пришлось разбирать “дело” Юлиана Оксмана в связи с его перепиской с Глебом Струве и публикациями (опять же под псевдонимом) в “Русской мысли”... И вот — опять.

Партийное бюро заседало несколько раз: 12 и 25 октября, 22 и 30 ноября. Мало... Следующее заседание пришлось на 7-8 декабря.

Основной доклад делал Владимир Иосифович Борщуков, один из твердолобых “мастодонтов” Института, тут же перекинувший мостик от Синявского к скверно поставленной идеологической работе в учреждении, а также к сомнительной научной деятельности молодых учёных отдела теории... Даром что Синявский работал в отделе советской литературы — тут уж поле для сведения счётов с “неудобными” оказывалось достаточно широким.

Но подобные обобщения устроили далеко не всех. Разговор быстро перевели на проштрафившегося — персонально.

“В. Щербина: ... В смысле перевода в старшие <научные> сотрудники мы должны признать нашу ошибку, когда дали это звание Синявскому. Дирекция была против этого, а отдел настаивал. Явление “Синявский” — это смесь “замятинщины” с блевотиной фрондёрства 1954–1956 годов. В своих работах он проводит критику очень широко: от социалистического строя до положительного героя Горького... У нас была с ним большая полемика в связи

с Демьяном Бедным, Бабелем, “Чапаевым”, Пастернаком. Он уже тогда себя выявил. Мы должны были отнестись к этому строже...

М. Яхонтова: Не нужно говорить о явлении “Синявских” – пока, к счастью, у нас этого явления нет. Есть ошибающиеся товарищи. Не нужно выставлять Синявского лидером. В докладе не чувствуется, что наш Институт работает над проблемами, которые отрицаются Синявским...

П. Балашов: ... Даже такой враг, как американский литературовед Симмонс, оценивает писания Синявского как “дерьмо”. Ведь, по существу, концепции Синявского – это перепевы Оруэлла и Замятина. Нужно больше думать об ответственности наших сотрудников, встречающихся с иностранцами...

А. Дементьев (заместитель Твардовского в “Новом мире”, где печатались статьи Синявского, не скрывал своего негодования. – С. К.): ... Нужно подчеркнуть, что он политический враг. Нужно больше говорить о двуличии Синявского... Он писал и о Горьком, и о поэзии первых лет революции. Чтобы нам не выглядеть совершенными идиотами, мы должны показать полностью двуличие Синявского... Относительно группы советской литературы. Она нуждается в помощи. У нас трое умерло, двое тяжело болели. Синявский нанёс преступный удар...

Л. Д. Опульская: ... Если бы А. Г. Дементьев знал, что Синявский способен думать, как Абрам Терц, он сумел бы дать отпор. Я считаю, что мы не можем проводить аналогии между Синявским и высказываниями молодых сотрудников из сектора теории. Хорошо, что там есть традиция свободных высказываний, такая атмосфера и может способствовать правильному воспитанию. Увы, в советском отделе нет такой атмосферы. Иначе члены коллектива могли бы раньше среагировать на взгляды Синявского”.

Но Александр Григорьевич Дементьев не останавливался. Он счёл необходимым выступать на каждом собрании партбюро...

“А. Г. Дементьев: О деле Синявского по поводу его сути двух мнений быть не может. Это сознательный враг, литературный и политический... В Синявском мы ошибались, и я лично. Правда, в “Новом мире” мы ошибались столько же, сколько и здесь. Дело не в том, что мы его не разоблачили. Мы не всегда давали дружный отпор, когда у него прорывались вредные идеи. Необходимо усиление партийности, так как до сих пор многие ещё этого не понимают и защищают Синявского, стремятся морально поддержать его. Только так я рассматриваю возмездное выступление Буртина... (Автор и будущий сотрудник “Нового мира” – коллега А. Г. Дементьева – Юрий Буртин защищал в ИМЛИ диссертацию о творчестве Твардовского и на защите выразил мнение о необходимости оказать помощь в работе Синявскому, к тому времени уже арестованному. – С. К.).

Е. М. Евнина (выпускница Института красной профессуры, работавшая в ИМЛИ ещё с довоенных лет, на старости лет напишет воспоминания об Институте, где с наслаждением обольёт грязью многих своих коллег. – С. К.): ... Факт ареста Синявского страшен. Это наша беда. Но есть тенденция сваливать в одну кучу вопросы разные. Молодые сотрудники сектора теории и Синявский – разные явления... Кстати говоря, работы Бочарова очень интересны, человек это скромный. Зачем же ставить его на одну доску с Синявским?

М. М. Кузнецов: В нашем Институте все знали о статьях Абрама Терца. В 1959 году, когда я работал в “Литгазете”, мне дали читать статью Терца о социалистическом реализме. А Т. К. Трифонова напечатала статью против взглядов Терца. Нам и в голову не приходило, что А. Терц – это и есть Синявский. Мы много с Синявским спорили по разным его работам, но разоблачить его не смогли. Для нашей группы это большой урок. И для всего Института большая наука. Я думаю, что случай с Буртиным требует от нас, чтобы мы всем объяснили, что такое Синявский. Мы должны показывать всю вредность его идей и морального облика. Кто-то из солидных людей должен очень серьёзно объяснить молодёжи, что произошло...

А. М. Ушаков: ... С Синявским очень много спорили, и на отделе, и на дирекции, даже в присутствии немецких учёных он говорил, что Фурманов – побочная линия советской литературы, а Бабель – центральная. Покровительствовали Синявскому и думали, что долг выполнен. Отдел советской литературы, к сожалению, ограждал Синявского от критики...

А. И. Овчаренко: ... Я не мог понять, в чём талантливость Синявского. Я тоже разделял это мнение, хотя знал, что из МГУ его попросили за двоедушие. Мы на это не обратили внимание. Я читал его трактат ("Что такое социалистический реализм?" — С. К.) и произведения. До сих пор я не уверен, что это один человек писал. Даже в рассказах — разные художественные манеры. Сами американцы относились к трактату Терца как к очередной провокационной стряпне. В трактате чудовищное упрощение марксизма...

И — наконец — самый старый и самый заслуженный работник Института — бывший главный редактор "Нового мира", многолетний сталинский "зек" — Иван Михайлович Гронский.

"И. М. Гронский: ... Пеньковский — крупный враг (полковник ГРУ Олег Пеньковский был приговорён в 1963 году к расстрелу за измену Родине и шпионаж в пользу США и Великобритании. Стенограмма его судебного процесса была издана 100-тысячным тиражом и обсуждалась во всех советских учреждениях, естественно, и в ИМЛИ. — С. К.), Синявский — мелочь. Его разоблачили, но синявские могут повториться (довольно прозорливое наблюдение. — С. К.). Не забывая подозрительностью, мы должны помогать партийным организациям и другим. Никто из ораторов не назвал органы нашей безопасности. Правда, эти органы дискредитировали себя в ежовско-бериевский период, но мы преодолели это, подчинили их партии и народу... Нельзя так выступать: Дикушина не разглядела Синявского. В уме ли вы? Ведь он работал у нас на глазах, все мы его не разглядели..."

14 февраля 1966 года завершился судебный процесс над Синявским и Даниэлем. Синявский получил 7 лет заключения, Даниэль — 5. Понятно, что наказание было явно несоразмерно проступку (даже по тем временам) — и по существу, власть сама способствовала созданию так называемого "диссидентского движения", которое стало оформляться именно после этого процесса... Юлий Даниэль, в частности, в своём последнем слове отверг все попытки тенденциозного прочтения своих произведений, которые были написаны, прямо скажем, ниже среднего уровня. А в заключение он фактически признал и свою вину, и вину своего "подельника":

"Все, что я сказал, не значит, будто я считаю себя и Синявского святыми и безгрешными ангелами и что нас надо сразу после суда освободить из-под стражи и отправить домой на такси за счет суда. Мы виноваты — не в том, что мы написали, а в том, что отправили за границу свои произведения. В наших книгах много политических бестактностей, перефразов, оскорблений.

Но 12 лет жизни Синявского и 8 лет жизни Даниэля (такие сроки требовал прокурор. — С. К.) — не слишком ли это дорогая цена за легкомыслие, за непредусмотрительность, за просчёт?

Как мы оба говорили на предварительном следствии и здесь, мы глубоко сожалеем, что наши произведения использовали во вред реакционные силы, что тем самым мы причинили зло, нанесли ущерб нашей стране. Мы этого не хотели. У нас не было злого умысла, и я прошу суд это учесть.

Я хочу попросить прощения у всех близких и друзей, которым мы причинили горе.

Я хочу ещё сказать, что никакие уголовные статьи, никакие обвинения не помешают нам — Синявскому и мне — чувствовать себя людьми, любящими свою страну и свой народ".

... Уже после приговора заседания партийного бюро в ИМЛИ продолжались. Пошли внутренние разборки на тему, кто видел ранее в Синявском врага, а кто — "проглядел".

"М. М. Кузнецов: ... Обвинение не располагало ни одним свидетелем, который дал бы объективную оценку деятельности Синявского, — это всё были близкие друзья обвиняемого. Какие мы извлекаем уроки? Был молчаливый замкнутый человек, избегавший общественной работы, избегавший посещать семинары, избегавший оценивать итоги литературного года... Синявский писал о Горьком, о Багрицком, о революционной поэзии первых лет советской власти. На суде Синявский вынужден был признаться в двурушничестве. То, что писал Терц, и то, что писал Синявский, взаимоисключающе. Он обманывал,

говоря о Горьком здесь и там, о социалистическом реализме там и здесь... Я не делаю отсюда вывода, что всегда, если человек ведёт себя так, он враг. Но задуматься над этим коммунистам необходимо... Органы КГБ тоже не могли раскрыть Синявского, не только мы. В определённой группе молодёжи есть скрытое сочувствие к Синявскому. В Институте следовало бы более широко ознакомить сотрудников с его произведениями. Это было бы на пользу, ибо произведения Синявского вызывают у советских людей только чувство отвращения...

Балашов П.: Не просвечивал ли Терц в Синявском?

Кузнецов М. М.: Думаю, что нет. Конечно, он был человек своеобразный. Когда его критиковали, он соглашался и обещал исправить. Сейчас, конечно, многое кажется в ином свете...

Аллилуева С. И. (у дочери Сталина с Синявским был многолетний роман, Светлана даже попыталась увести его из семьи, прямо явившись к нему домой и потребовав от Марии Розановой – жены Андрея Донатовича – отпустить мужа к ней. Розанова – ядовитая и умная особа – отреагировала нетривиально: “Андрюша, не слишком ли далеко ты зашёл в изучении истории СССР?”... Как филолог Светлана Иосифовна была пустым местом, правда, в это же время она усиленно писала книгу “Двадцать писем к другу” – о своей жизни и об отце. “Другом” был всё тот же Синявский. – С. К.): Я в партийной организации с 1956 года, выступаю редко и хочу, чтобы меня поняли-таки. У меня очень сильное чувство протеста. Я не понимаю, что сегодня тут происходит. Событие с Синявским все восприняли трагически. Он нам наплевал в лицо. Весь советский сектор должен испытывать такое чувство. Это удивительно, чтобы человек был столь отвратительным двурушником. Я тоже не читала его произведений, но знаю со слов тех, кто читал. Почему он вырос в такую большую фигуру, в лидеры антибольшевизма №1? Институт должен был судить его общественным судом. Советский отдел должен был судить его. А теперь оказывается, что его вырастил советский отдел. Почему молчат Дикушина и Дементьев? Синявского всегда критиковали в отделе, а разоблачить его подпольную работу – дело следственных органов. Я протестую против того, чтобы коллектив советского отдела очернялся. Синявский не вытекает ни из партийной работы сектора, ни из научной работы. А здесь хотят доказать, что вытекает...”

Ну, как же мог Дементьев промолчать в ответ на подобную реплику! Конечно, он всколыхнулся ещё раз.

“Дементьев А. Г.: ...Увидеть в Синявском Терца нам было не дано. Увидеть концепцию, враждебную нашему историческому процессу, тоже было невозможно. Такой, как в книге Терца, – нет, не было... У Синявского шла своя подпольная жизнь, а мы ничего не знали...”

Евнина Е. М.: Понятно, что дело Синявского – тяжёлое дело, но сектор в этом не виноват. В выдвижении Синявского участвовал не только отдел, но и дирекция, и Учёный Совет, который его утвердил... Выступление Кузнецова на информации меня успокоило, ибо я поняла, что это не серьёзный враг, а мелкая гнусь, которая идёт от эротики буржуазной литературы.

Дикушина Н. И.: Многие говорили, что Синявский – результат нездоровой атмосферы в отделе. Это неверно. Синявский – явление более сложное, исторически обусловленное... Если Синявский уже тогда был двурушником – почему Метченко все эти годы молчал? Я была парторгом в те годы, когда формировался Терц, – почему не спрашивают с меня, а спрашивают с Кузнецова, парторга с 1964 года?.. Дело Синявского очень сложное... Я прочла книги Терца, они – лучшая агитация против него. Нужно дать людям возможность убедиться в этом. Мы должны сейчас активно разъяснять людям, что такое Абрам Терц...”

Своеобразный промежуточный итог (в своём роде успокоительный) подвёл Борщук, проигнорировав смысл последних выступлений: “Мы друг друга убедили, что никто в нашей среде ответственности за Синявского не несёт. Синявский пришёл в Институт уже сложившимся врагом...” (в ИМЛИ Синявский пришёл в 1952 году и, насколько можно судить, до 1955 года – до возвращения из ссылки отца, бывшего эсера, – никаких “вражеских” поползновений у него не было. – С. К.).

В ноябре 1966 года в “Литературной газете” появилось письмо 62-х писателей, адресованное в Президиум XXIII съезда КПСС, в Президиум Верховного Совета СССР и в Президиум Верховного Совета РСФСР, в котором Александр Аникст, Павел Антокольский, Юрий Домбровский, Анатолий Жигулин, Вениамин Каверин, Лев Копелев, Юрий Левитанский, Олег Михайлов, Булат Окуджава, Леонид Пинский, Арсений Тарковский, Корней Чуковский, Варлам Шаламов, Виктор Шкловский, Илья Эренбург и другие обращались с просьбой разрешить взять на поруки Синявского и Даниэля. . . “Хотя мы не одобряем тех средств, к которым прибегали эти писатели, публикуя свои произведения за границей, мы не можем согласиться с тем, что в их действиях присутствовал антисоветский умысел, доказательства которого были бы необходимы для столь тяжкого наказания. . .” Также авторы письма подчёркивали (и в общем справедливо), что “процесс над Синявским и Даниэлем причинил уже сейчас большой вред, чем все ошибки Синявского и Даниэля”.

Олег Михайлов потом вспоминал: “Я тогда совершенно не знал всех кроважидных подробностей. Меня очень огорчило то, что один из самых талантливых сотрудников Института мировой литературы оказался в ситуации, когда ему ни мало ни много грозила тюрьма. Тогда я не читал “зарубежных” произведений Андрея Донатовича, но то, что всякая “осетрина второй свежести” могла оставаться в институте, а талантливый человек погибал, и подтолкнуло меня поставить свою подпись”.

Молодые теоретики (люди беспартийные) остались в стороне как от взаимояснения отношений в связи с “синявской историей” в стенах ИМЛИ, так и от подписывания каких бы то ни было писем “за” или “против”. Но было одно письмо, которое Вадим Кожин (прекрасно знавший по куплетам об “Абрашке Терце”, исполняемым Синявским в частных компаниях, кто является носителем этого псевдонима) не подписать не мог.

Свидетелем защиты на процессе был университетский учитель Синявского и Кожина Виктор Дмитриевич Дувакин. После процесса его отстранили от преподавания и поставили вопрос об увольнении с филологического факультета. Вот одно из коллективных писем в его защиту и подписал Вадим Валерианович.

Конечно, ни одно из этих коллективных писем роли не сыграло. Синявский и Даниэль остались отбывать свои сроки, Дувакин к преподаванию не вернулся, но был зачислен на кафедру научной информации, где стал создавать фонд звуковых мемуаров по истории русской культуры первой трети XX века.

В уже упоминавшейся беседе с Михаилом Бахтиным он назвал Кожина своим близким учеником и . . . Васьюшкой Буслаевым. Дескать “опираться на него трудно” (это он – Бахтину! – **С. К.**) “Очень способный. . . но довольно беспринципный. К сожалению. . . Он очень всегда подчёркивал, что он мой ученик и так далее, а потом фьють – и исчез. Как-то стало это не очень приятно. . .” И дал понять, что это связано с историей его увольнения с филфака.

Тут-то и последовало резкое возражение Бахтина: “Вы не знаете Кожина-ва! Он человек абсолютно бесстрашный” . . .

Дувакин, судя по всему, понятия не имел о том, что Кожин в числе других подписал письмо в его защиту. И эту часть беседы с Бахтиным он, убеждённый в своей неправоте, закончил фразой: “Ну, может быть ему (Кожину-ву. – **С. К.**) просто неинтересно стало”. Вадим Валерианович через три десятка лет, комментируя запись этой беседы, согласился с этими словами: “Каюсь: диагноз верен. Маяковский и его мир, начиная с 1960-х годов, интересовали меня мало. . .”

Тот интерес, который всё больше и больше стал проявляться, интерес к литературе 1820-х – 1840-х годов, о чём он писал Бахтину и Бельчикову, стал для него определяющим. Это был новый поворот в его интеллектуальной жизни, поворот, определивший всё последующее.

Поворот, которого могло бы не случиться (или его последствия были бы иными) без живого общения с Николаем Рубцовым, Владимиром Соколовым, Анатолием Передревым, Станиславом Куняевым.

(Продолжение следует)